



Л. Н. Толстой - Утро помещика

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние каникулы в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он написал своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, что собирается оставить университет, чтобы посвятить себя жизни в деревне. Желая привести дела в порядок Нехлюдов открыл, что главное зло заключается в бедственном положении мужиков, и что зло это можно исправить только трудом и терпением. Князь решил что его священная и прямая обязанность заботиться о счастье семисот своих крестьян, а чтобы быть рачительным хозяином, не надо диплома и чинов. Нехлюдов просил также не показывать письма брату Васе, а брат Ваня если и не одобрит это намерение, то поймет его.

Графиня ответила ему, что письмо это ничего не доказало, кроме того, что у князя прекрасное сердце. Однако, чтобы быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем он едва ли когда-нибудь будет, хотя и старается притворяться таким. Такие планы — всего лишь ребячество. Князь всегда хотел казаться оригиналом, но эта оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. Нищета нескольких крестьян — зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе.

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.

У молодого помещика были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь его была распределена по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Ясным июньским воскресеньем барин отправился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви, низко кланяясь барину и обходя его.

Нехлюдов вынул записную книжку: «Иван Чурисенка — просил сошек», — прочел он. Жилищем Чурисенка был полусгнивший сруб, погнувшийся набок и вросший в землю. Дом и двор были когда-то покрыты под одну неровную крышу, теперь же только на застрехе густо нависла гниющая солома; наверху же местами видны были стропила.



— Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов.

— Дома, кормилец, — ответила небольшая старушонка, в изорванной клетчатой панёве.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно и грязно. Чурилёнок топором выламывал плетень, который придавила крыша.

Иван Чурилёв был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначившийся из-под русских редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с заплатками на коленях, и такой же грязной, расплывшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

— Вот пришел твое хозяйство проведать, — с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов. — Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

— Да вот двор подпереть хотелось, совсем уж развалился.

— Да тебе нужно лесу, а не сошек.

— Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем?

— Ну ты бы так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить. Ведь я рад помочь тебе...

— Много довольны вашей милостью, — недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурилёнок. — Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь, а который негодный лес, так в избу на подпорки пойдет. Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, — равнодушно сказал Чурилёв. — Намедни и то накатила с потолка моей бабе по спине полыхнула, да так что она до ночи замертво пролежала.

— Отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами.

— Да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна!

— застонала баба. — Дело наше одинокое...

Нехлюдов вошел в избу. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки, в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурилёв довел себя до такого



положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

— Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами? Избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны. Я её, пожалуй, отдам тебе в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь, — сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. — Что ж, разве это тебе не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что, как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

— Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Да там и жить-то нельзя, воля ваша! Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисёнок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алёшу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

— И, батюшка ваше сиятельство! — с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения, — здесь на миру место весёлое: и дорога, и пруд тебе, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь Богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить — много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, утиравшей слёзы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем, — и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

— Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское.

— Много довольны вашей милостью, — отвечал смущенный Чурис. — Коли на двор леску ублаготворите, так мы и так поправимся. — Что мир? Дело известное... Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану. Молодому помещику, видно, хотелось ещё спросить что-то у хозяев;



он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, истопленную печь.

— Что, вы уж обедали? — наконец спросил он.

— Нынче пост голодный, ваше сиятельство.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали её, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою мысль.

— Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как не бедным?

Земля наша какая: глина, бугры, да и то, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рождает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Вот моя подмога вся тут, — продолжал Чурис, указывая на белоголового мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса.

— Только будет милость ваша насчет училища его увольте: а то намедни земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он ещё млад, ничего не смыслит.

— Нет, мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь — ведь все у тебя дома с Божьей помощью лучше пойдет, — говорил Нехлюдов, стараясь выразиться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

— Неспорно, ваше сиятельство, — вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине — ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет. Какой ни есть, а все мужик, — и Чурисёнок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

— Да я ещё хотел сказать тебе, — сказал Нехлюдов, — отчего у тебя навоз не вывезен?

— Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего.

Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал — вот и скотина моя вся. Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет.

— Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, — сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая её, — купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна, — я прикажу.

— Много довольны вашей милостью, — сказал Чурис со своей обыкновенной,



немного насмешливой улыбкой.

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

— Я рад тебе помогать, — сказал он, останавливаясь у колодца, — тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться — и я буду помогать; с Божиею помощью и поправишься.

— Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, — сказал Чурис, принимая вдруг строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. — Жили при батьке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помер он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

«Юхванка-Мудрёный хочет лошадь продать» — Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего осинового леса (тоже из барского заказа). Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства нарушался клетью с недоплетённым забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее.

С другой стороны подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки-Мудрёного. Первая была плотная, румяная баба. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, новая панева, бусы и вышитая щегольская кичка. Легкое напряжение, заметное в красном лице её, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу.

Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости.

Костлявый остов её был согнут; обе руки её, с искривленными пальцами, были какого-то бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишённые ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другую.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе.

— Дома сын твой? — спросил бариин.

Старуха, согнув ещё более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами,



прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русский парень лет тридцати, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха, полосатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами.

Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, и также беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар и черная рамка с портретом какого-то генерала в красном мундире. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, обратился к мужику.

— Здравствуй, Епифан, — сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем.

— Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь. — Сухо сказал барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы.

— Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животное добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

— Пойдем, покажи мне своих лошадей.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатей и закинул её за печку.

На дворе под навесом стояла худая сивая кобыленка, двухмесячный жеребенок не отходил от её тощего хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

— Вот евту-с хочу продать, васясо, — сказал Юхванка, махая на задремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Нехлюдов попросил поймать меренка, но Юхванка, объявив скотину норовистой, не тронулся с места. И только когда Нехлюдов сердито прикрикнул, бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошастью, пугая её. Барину надоело смотреть на это, он взял оброть и прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив её за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок зашатался и захрипел. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и считает его ребенком. Он покраснел, открыл лошади рот, посмотрел в зубы: лошадь молодая.

— Ты лгун и негодяй! — сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез.

Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, и слегка подергивал головой. — Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? А главное, зачем ты лжешь? Зачем тебе нужны деньги?



— Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

— Лошади продавать и думать не смей!

— Какая же наша жизнь будет? — отвечал Юхванка совсем на сторону, и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина: — Значит, с голоду помирать надо.

— Смотри, брат! — закричал Нехлюдов, — таких мужиков, как ты, я держать не стану. Ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь её своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

— Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают, — смущенно отвечал Юхванка, которого, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки.

— Послушай, Епифан, — сказал Нехлюдов детски-кротким голосом, стараясь скрыть свое волнение, — Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо и не лги, тогда я тебе не откажу.

— Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! — отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина. Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и обратить на путь истинный. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, как казалось, в знак сочувствия словам барина.

— Вот вам на хлеб, — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию, — только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьёт.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев». Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издав издав увидел барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

— Был у Мудрёного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед по улице. — Он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится. И жена его, кажется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать — я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

— Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, — начал он, — то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и честный, кажется, мужик. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. А как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать.



В солдаты опять не годится, потому как двух зубов нет. А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно. Ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, её и толкнула — бабье дело!

Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать. Домой изволите? — спросил он.

— Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

— Вот уж доложу вам. Чего с ним не делал — ничто не берет: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. И ведь Давыдка — мужик смирный, и неглупый, и не пьет, а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.

— Нет, ступай, — рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Высокий бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, лежащей в грязи у порога, не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно: но никто не отозвался ему. Он вошел в отворенную избу. Петух и две курицы расхаживали по полу и лавкам. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, но у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся от течи в крыше. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое, однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту Давыдка крепко спал, забившись в угол печи. Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный вздох изобличил хозяина.

— Кто там? Поди сюда!

На печи медленно зашевелилось, спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого. Медленно нагнув голову, он взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, но все ещё так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все ещё слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волоса, и тело, и лицо его — все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.



— Ну, как же тебе не совестно, — начал Нехлюдов, — середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив её немного набок, и не двигался. Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.

— Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уже целый месяц лежит, а? — Давыдка упорно молчал и не двигался. — Ведь надо работать, братец. Вот теперь у тебя хлеба уж нет — все от лени. Ты просишь у меня хлеба. Чей хлеб я тебе дам?

— Господский, — пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

— А господский-то откуда? На тебя и на барщине жалуются, — меньше всех работал, а больше всех хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, и чрез минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо её было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах её свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на черную деревянную икону, потом она оправила грязный клетчатый платок и низко поклонилась барину.

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и ещё ниже опустил шею.

— Спасибо, Арина, — отвечал Нехлюдов. — Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или, как её прозвали мужики ещё в девках, Аришка Бурлак, не дослушав, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком её голоса:

— Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Хлеб лопают, а работы от него, как от колоды. Только знает на печи лежать. Уж я сама прошу: накажи ты его ради Господа Бога, в солдаты ли — один конец! Мочи моей с ним не стало. Загубил он меня, сироту! — взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. — Гладкая твоя морда лядащая, прости Господи! (Она презрительно и отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Заморил он меня, подлец! Невестка с работы извелась — и мне то же будет. Взяли мы её запрошлый год из Бабурина, ну, баба была молодая, свежая. Как нашу работу узнала, ну и надорвалась. Да ещё на беду мальчишку родила, хлеба нету, да ещё работа спешная, у нее груди и пересохни. А как детёнок помер, уж она



выла-выла, да и сама кончилась. Он её порешил, бестия! — снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну... — Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство, жени сына, пожалуйста. Я не дай Бог помру, ведь он тебе не мужик будет. И невеста есть — Васютка Михейкина.

— Разве она не согласна?

— Нет, кормилец.

— Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; только бы шла по своей охоте. Насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

— Э-э-эх, кормилец! Да какая своей охотой к нам-то пойдет, да и какой мужик девку нам отдаст? Одну, скажут, с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто ж нас обдумает, коли не ты? — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

— Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить, — сказал барин. А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за баринком.

— Что я с ним буду делать, отец? — продолжала Арина, обращаясь к барину.

— Ведь мужик-то неплохой, а сам себе злодей стал. Не иначе, как испортили его злые люди. Коли найти человека, его излечить можно. Не сходить ли мне к Дундуку: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, може, он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество! — думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая вниз по деревне. — Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно. Сослать на поселенье или в солдаты?»

Он подумал об этом с удовольствием, но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что-то нехорошо. Вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его «Взять во двор, — сказал он сам себе, — самому наблюдать за ним, и кротостью, и увещаниями, приучать к работе и исправлять его».

Вспомнив, что надо ещё зайти к богатому мужику Дутлову, Нехлюдов направился к высокой и просторной избе посередине деревни. По дороге он столкнулся с высокой бабой лет сорока.

— Не пожалуете ли к нам, батюшка?

Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

— Лучше здесь посидим, потолкуем, — отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была ещё свежая и красивая женщина. В чертах лица её и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина, начала говорить с ним:

— Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

— Да хочю дело с ним завести, да лес купить вместе.

— Известно, батюшка, Дутловы люди сильные, и деньги должны быть.

— А много ли у него денег? — спросил барин.

— Да должны быть деньги. Да и старик-от — хозяин настоящий.

И на ребят-то счастье. Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет.



Теперь старик старшего, Карпа, хочет хозяином в доме поставить. Карп-то хороший мужик, а все против старика хозяином не выйдет!

— Может Карп захочет заняться землей и рощами?

— Вряд ли, батюшка. Пока старик жив, так он главный. А старик побоится барину свои деньги объявить. Неравен час и всех денег решится...

— Да... — сказал Нехлюдов. краснея. — Прощай, кормилица.

— Прощайте, батюшка ваше сиятельство. Покорно благодарим.

«Нейти ли домой?» — подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость. Но в это время новые тесовые ворота отворились, и показался красивый, румяный белокурый парень лет восемнадцати, в ямской одежде, ведя за собой тройку крепконогих косматых лошадей.

— Что, отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов. «Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит», — подумал Нехлюдов, заходя на просторный двор Дутлова. На дворе и под высокими навесами стояло много телег, саней, всякого крестьянского добра; голуби ворковали под широкими, прочными стропилами. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший, Карп, был ещё выше ростом, носил лапти, серый кафтан, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

— Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? — сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь.

— Мне с тобой поговорить нужно, — сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем чтоб Игнат не мог слышать разговора. Самоуверенность и некоторая гордость, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтоб другой не слышал.

— Что, братья твои на почте ездят?

— Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходит. По крайности кормимся лошадьми — и то слава Богу.

— Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю у меня, да заведите хозяйство большое. И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, стал объяснять мужику свое предположение.

— Мы много довольны вашей милостью, — сказал Карп. — Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. Да поколи батюшка жив, что ж я думать могу.

— Проведи-ка меня, я поговорю с ним.

Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей



соломой мшеника. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, кротко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, фигура старичка была так простодушно-ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастьем.

— Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, — сказал старик. — Меня пчела знает, не кусает.

— Так и мне не нужно. А вот я читал в книжке, — начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, — что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с перекладин... — Нехлюдову было больно: но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, ещё раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison Rustique» [«Ферма»]; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в середине рассуждения.

Старика пчелы не кусали, но Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать вон; пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон.

— Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, — продолжал старик, — об Осипе, кормилицыном муже. Вот что ни год свою пчелу на моих молодых напускает, — говорил старик, не замечая ужимок барина.

— Хорошо, после, сейчас... — проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, выбежал в калитку.

— Землей потереть: оно ничего, — сказал старик, выходя на двор вслед за бариним. Барин потер землю то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.

— Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство, — сказал старик, как будто, или действительно, не замечая грозного вида барина. — Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы пошли на все лето.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, — сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. — Оно не беда заниматься честным промыслом, но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, избаловаться может, — прибавил он, повторяя слова Карпа. — Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей и лугами...

— А что, ваше сиятельство, в избу не пожалуете ли? — сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе со стариком, вошел и Нехлюдов.

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом женщина, жена Ильи,



сидела на нарах и качала ногой зыбку; другая, плотная, краснощёкая баба, хозяйка Карпа, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда. Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.

— Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете?

— сказал старик.

— Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу, — вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. — Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да ещё землю... Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

— Хорошо, кабы деньги были, отчего бы не купить, — сказал он.

— Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? — настаивал Нехлюдов. Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

— Может, злые люди про меня сказали, — заговорил он дрожащим голосом, — так, верите Богу, кроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и нету ничего.

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал барин, вставая с лавки. — Прощайте, хозяйева.

«Боже мой! Боже мой! — думал Нехлюдов, направляясь к дому, — неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой?» И он с необыкновенной живостью перенесся воображением на год назад.

Рано-рано утром он без цели вышел в сад, оттуда в лес, и долго бродил один, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему.

Он представлял себе женщину, но какое-то высшее чувство говорило не то и заставляло его искать чего-то другого. То, казалось, открывались ему законы бытия, но снова высшее чувство говорило не то. Он лег под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, вдруг, без всякой причины, на глаза навернулись слезы. Пришла мысль, что любовь и добро и есть истина и счастье. Высшее чувство не говорило уже не то. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», — думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в форме помещичьей жизни живо рисовалась пред ним.

Ему не надо искать призвание, у него есть прямая обязанность — крестьяне... «Я должен избавить их от бедности, дать образование, исправить пороки, заставить полюбить добро... И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их». И юное воображение рисовало ему ещё более обворожительную будущность: он, жена и старая тетка живут в полной гармонии...

«Где эти мечты? — думал теперь юноша, подходя к дому. — Вот уже больше года, что я ищу счастья на этой дороге, и что ж я нашел? Правду писала



тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? Образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится все тяжелей. Я даром трачу лучшие годы жизни». Ему вспомнилось, что денег уже не осталось, что со дня на день надо было ожидать описи имения. И вдруг так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, разговоры с обожаемым шестнадцатилетним другом, когда они разговорились о будущности, ожидающей их. Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и, несомненно, вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире — к славе. «Он уж идет по этой дороге, а я...»

Но он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, дожидавшихся барина. Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол, на котором лежали бумаги, и старинный английский рояль. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем.

— Что, завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

— Нет, не хочется, няня, — сказал он и снова задумался.

— Эх, батюшка Дмитрий Николаич, что скучаете? День-деньской один-одинешенек. Хоть бы в город поехали или к соседям. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала...

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правой рукой он начал наигрывать на фортепьяно. Затем придвинулся ближе и стал играть в две руки. Аккорды, которые он брал, были не совсем правильны, но недостающее он дополнял воображением.

Ему представлялась то пухлая фигура Давыдки Белого, его мать, то кормилица, то русая головка его будущей жены, почему-то в слезах. То он видит Чуриса, его единственного сына, то мать Юхванки, потом вспоминает бегство с пчельника. Вдруг ему представляется тройка лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки. Представил как ранним утром идет обоз, толстоногие сытые кони дружно тянут в гору. Вот и вечер. Обоз прибыл к постоялому двору, вкусный ужин в жаркой избе. А вот и ночлег на пахучем сене. «Славно!» — шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему.



Скачано с сайта [Краткое Содержание](http://kratkoe-soderjanie.ru).